

Леонид Андреев

Валя



Леонид Николаевич Андреев

Валя

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146589

Аннотация

«Валя сидел и читал. Книга была очень большая, только наполовину меньше самого Вали, с очень черными и крупными строками и картинками во всю страницу. Чтобы видеть верхнюю строку, Валя должен был протягивать свою голову чуть ли не через весь стол, подниматься на стуле на колени и пухлым коротеньким пальцем придерживать буквы, которые очень легко терялись среди других похожих букв, и найти их потом стоило большого труда. Благодаря этим побочным обстоятельствам, не предусмотренным издателями, чтение подвигалось с солидной медленностью, несмотря на захватывающий интерес книги...»

Леонид Николаевич Андреев Валя

Валя сидел и читал. Книга была очень большая, только наполовину меньше самого Вали, с очень черными и крупными строками и картинками во всю страницу. Чтобы видеть верхнюю строку, Валя должен был протягивать свою голову чуть ли не через весь стол, подниматься на стуле на колени и пухлым коротеньким пальцем придерживать буквы, которые очень легко терялись среди других похожих букв, и найти их потом стоило большого труда. Благодаря этим побочным обстоятельствам, не предусмотренным издателями, чтение подвигалось с солидной медленностью, несмотря на захватывающий интерес книги. В ней рассказывалось, как один очень сильный мальчик, которого звали Бовою, схватывал других мальчиков за ноги и за руки, и они от этого отрывались. Это было и страшно и смешно, и потому в пыхтении Вали, которым сопровождалось его путешествие по книге, слышалась нотка приятного страха и ожидания, что дальше будет еще интереснее. Но Вале неожиданно помешали читать: вошла мама с какою-то другою жен-

щиной.

– Вот он! – сказала мама, глаза у которой краснели от слез, видимо недавних, так как в руках она мяла белый кружевной платок.

– Валечка, милый! – вскрикнула женщина и, обняв его голову, стала целовать лицо и глаза, крепко прижимая к ним свои худые, твердые губы. Она не так ласкала, как мама: у той поцелуи были мягкие, тающие, а эта точно присасывалась. Валя, хмурясь, молча принимал колючие ласки. Он был недоволен, что прервали его интересное чтение, и ему совсем не нравилась эта незнакомая женщина, высокая, с костлявыми пальцами, на которых не было ни одного кольца. И пахло от нее очень дурно: какую-то сыростью и гнилью, тогда как от мамы всегда шел свежий запах духов. Наконец женщина оставила Валу в покое и, пока он вытирал губы, осмотрела его тем быстрым взглядом, который словно фотографирует человека. Его коротенький нос, но уже с признаками будущей горбинки, густые, не детские брови над черными глазами и общий вид строгой серьезности что-то напомнили ей, и она заплакала. И плакала она не так, как мама: лицо оставалось неподвижным, и только слезы быстро-быстро капали одна за другою – не успевала скатиться одна, как уже догоняла другая. Так же внезапно перестав плакать, как и начала, она

спросила:

– Валечка, ты не знаешь меня?

– Нет.

– Я приходила к тебе. Два раза приходила. Помнишь?

Может быть, она и приходила, может быть, и два раза приходила, – но откуда Валя будет знать это? Да и не все ли равно, приходила эта незнакомая женщина или нет? Она только мешает читать со своими вопросами.

– Я твоя мама. Валя! – сказала женщина.

Валя с удивлением оглянулся на свою маму, но ее в комнате уже не было.

– Разве две мамы бывают? – спросил он. – Какие ты глупости говоришь!

Женщина засмеялась, но этот смех не понравился Вале: видно было, что женщина совсем не хочет смеяться и делает это так, нарочно, чтобы обмануть. Некоторое время оба молчали.

– Ты уже умеешь читать? Вот умница!

Валя молчал.

– А какую ты книгу читаешь?

– Про Бову-королевича, – сообщил Валя с серьезным достоинством и с очевидным чувством уважения к большой книге.

– Ах, это должно быть очень интересно! Расскажи

мне, пожалуйста, – заискивающе улыбнулась женщина.

И снова что-то неестественное, фальшивое прозвучало в этом голосе, который старался быть мягким и круглым, как голос мамы, но оставался колючим и острым. Та же фальшь сквозила и в движениях женщины: она передвинулась на стуле и даже протянула вперед шею, точно приготовилась к долгому и внимательному слушанию: а когда Валя неохотно приступил к рассказу, она тотчас же ушла в себя и потемнела, как потайной фонарь, в котором внезапно задвинули крышку. Валя чувствовал обиду за себя и за Бову, но, желая быть вежливым, наскоро проговорил конец сказки и добавил:

– Все.

– Ну, прощай, мой голубчик, мой дорогой! – сказала странная женщина и снова стала прижимать губы к Валиному лицу. – Скоро я опять приду. Ты будешь рад?

– Да, приходите, пожалуйста, – вежливо попросил Валя и, чтобы она скорее ушла, прибавил: – Я буду очень рад.

Посетительница ушла, но только что Валя успел разыскать в книге слово, на котором он остановился, как появилась мама, посмотрела на него и тоже стала плакать. О чем плакала женщина, было еще понят-

но: она, вероятно, жалела, что она такая неприятная и скучная, – но чего ради плакать маме?

– Послушай, – задумчиво сказал Валя, – как надоела мне эта женщина! Она говорит, что она моя мама. Разве бывают две мамы у одного мальчика?

– Нет, деточка, не бывает. Но она говорит правду: она твоя мама.

– А кто же ты?

– Я твоя тетя.

Это явилось неожиданным открытием, но Валя отнесся к нему с непоколебимым равнодушием: тетя так тетя – не все ли равно? Для него слово не имело такого значения, как для взрослых. Но бывшая мама не понимала этого и начала объяснять, почему так вышло, что она была мамой, а стала тетей. Давно, давно, когда Валя был совсем маленький...

– Какой маленький? Такой? – Валя поднял руку на четверть аршина от стола.

– Нет, меньше.

– Как киска? – радостно изумился Валя. Рот его полуоткрылся, брови поднялись кверху. Он намекал на беленького котенка, которого ему недавно подарили и который был так мал, что всеми четырьмя лапами помещался на блюдце.

– Да.

Валя счастливо рассмеялся, но тотчас же принял

свой обычный суровый вид и со снисходительностью взрослого человека, вспоминая ошибки молодости, заметил:

– Какой я был смешной!

Так вот, когда он был маленький и смешной, как киска, его принесла эта женщина и отдала, как киску, навсегда. А теперь, когда он стал такой большой и умный, она хочет взять его к себе.

– Ты хочешь к ней? – спросила бывшая мама и покраснела от радости, когда Валя решительно и строго произнес:

– Нет, она мне не нравится! – и снова принялся за книгу.

Валя считал инцидент исчерпанным, но ошибся. Эта странная женщина с лицом, таким безжизненным, словно из него выпили всю кровь, неизвестно откуда появившаяся и так же бесследно пропавшая, всколыхнула тихий дом и наполнила его глухой тревогою. Тетя-мама часто плакала и все спрашивала Валью, хочет ли он уйти от нее; дядя-папа ворчал, гладил свою лысину, отчего белые волосы на ней поднимались торчком, и, когда мамы не было в комнате, также спрашивал Валью, не хочет ли он к той женщине. Однажды вечером, когда Валя уже лежал в кроватке, но еще не спал, дядя и тетя говорили о нем и о женщине. Дядя говорил сердитым басом, от которого незаметно

дрожали хрустальные подвески в люстре и сверкали то синими, то красными огоньками.

– Ты, Настасья Филипповна, говоришь глупости. Мы не имеем права отдавать ребенка, для него самого не имеем права. Неизвестно еще, на какие средства живет эта особа с тех пор, как ее бросил этот... ну, да, черт его возьми, ты понимаешь, о ком я говорю? Даю голову на отсечение, что ребенок погибнет у нее.

– Она любит его, Гриша.

– А мы его не любим? Странно ты рассуждаешь, Настасья Филипповна, – похоже, что сама ты хочешь отделаться от ребенка...

– Как тебе не грешно!

– Ну, ну, уже обиделась. Ты обсуди этот вопрос хладнокровно, не горячась. Какая-нибудь кукушка, вертихвостка, наплодит ребят и с легким сердцем подбрасывает к вам. А потом пожалуйста: давайте мне моего ребенка, так как меня любовник бросил, и я скучаю. На концерты да на театры у меня денег нету, так мне игрушку давайте! Нет-с, сударыня, мы еще поспорим!

– Ты не справедлив к ней, Гриша. Ведь ты знаешь, какая она больная, одинокая...

– Ты, Настасья Филипповна, и святого из терпения выведешь, ей-богу! Ребенка-то ты забываешь? Тебе

все равно, сделают ли из него честного человека или прохвоста? А я голову свою даю на отсечение, что из него сделают прохвоста, ракалью, вора и... прохвоста!

– Гриша!

– Христом богом прошу: не раздражай ты меня! И откуда у тебя эта дьявольская способность перечить? «Она такая одино-о-кая», – а мы не одиноки? Бессердечная ты женщина, Настасья Филипповна, и черт дернул меня на тебе жениться! Тебе палача в мужа надо!

Бессердечная женщина заплакала, и муж попросил у нее прощения, объяснив, что только набитый дурак может обращать внимание на слова такого неисправимого осла, как он. Понемногу она успокоилась и спросила:

– А что говорит Талонский?

Григорий Аристархович снова вспылал.

– И откуда ты взяла, что он умный человек? Говорит, все будет зависеть от того, как суд посмотрит... Экая новость, подумаешь, без него и не знаем, что все зависит от того, как суд посмотрит. Конечно, ему что, – потявкал-потявкал, да и к сторонке. Нет, если бы на то моя воля, я бы всех этих пустобрехов...

Тут Настасья Филипповна закрыла дверь из столовой, и конца разговора Валя не слышал. Но долго еще

он лежал с открытыми глазами и все старался понять, что это за женщина, которая хочет взять его и погубить.

На следующий день он с утра ожидал, когда тетя спросит его, не хочет ли он к маме; но тетя не спросила. Не спросил и дядя. Вместо того оба они смотрели на Валу так, точно он очень сильно болен и скоро должен умереть, ласкали его и привозили большие книги с раскрашенными картинками. Женщина более не приходила; но Вале стало казаться, что она караулит его около дверей и, как только он станет переходить порог, она схватит его и унесет в какую-то черную, страшную даль, где извиваются и дышат огнем злые чудовища. По вечерам, когда Григорий Аристархович занимался в кабинете, а Настасья Филипповна что-нибудь вязала или раскладывала пасьянс, Валя читал свои книги, в которых строки стали чаще и меньше. В комнате было тихо-тихо, только шелестели переворачиваемые листы да изредка доносился из кабинета басистый кашель дяди и сухое щелканье на счетах. Лампа с синим колпаком бросала яркий свет на пеструю бархатную скатерть стола, но углы высокой комнаты были полны тихого, таинственного мрака. Там стояли большие цветы с причудливыми листьями и корнями, вылезавшими наружу и похожими на дерущихся змей, и чудилось, что между ни-

ми шевелится что-то большое, темное. Валя читал. Перед его расширенными глазами проходили страшные, красивые и печальные образы, вызывавшие жалость и любовь, но чаще всего страх. Валя жалел бедную русалочку, которая так любила красивого принца, что пожертвовала для него и сестрами, и глубоким, спокойным океаном; а принц не знал про эту любовь, потому что русалка была немая, и женился на веселой принцессе; и был праздник, на корабле играла музыка, и окна его были освещены, когда русалочка бросилась в темные волны, чтобы умереть. Бедная, милая русалочка, такая тихая, печальная и кроткая. Но чаще являлись перед Валею злые, ужасные люди-чудовища. В темную ночь они летели куда-то на своих колючих крыльях, и воздух свистел над их головой, и глаза их горели, как красные угли. А там их окружали другие такие же чудовища, и тут творилось что-то таинственное, страшное. Острый, как нож, смех; продолжительные, жалобные вопли; кривые полеты, как у летучей мыши, странная, дикая пляска при багровом свете факелов, кутающих свои кривые огненные языки в красных облаках дыма; человеческая кровь и мертвые белые головы с черными бородами... Все это были проявления одной загадочной и безумно злой силы, желающей погубить человека, гневные и таинственные призраки. Они наполняли

воздух, прятались между цветами, шептали о чем-то и указывали костлявыми пальцами на Валю; они выглядывали на него из дверей темной комнаты, хихикали и ждали, когда он ляжет спать, чтобы безмолвно реять над его головою; они засматривали из сада в черные окна и жалобно плакали вместе с ветром.

И все это злое, страшное принимало образ той женщины, которая приходила за Валею. Много людей являлось в дом Григория Аристарховича и уходило, и Валя не помнил их лиц, но это лицо жило в его памяти. Оно было такое длинное, худое, желтое, как у мертвой головы, и улыбалось хитрою, притворною улыбкою, от которой прорезывались две глубокие морщины по сторонам рта. Когда эта женщина возьмет Валю, он умрет.

– Слушай, – сказал раз Валя своей тете, отрываясь от книги. – Слушай, – повторил он с своей обычной серьезной основательностью и взглядом, смотревшим прямо в глаза тому, с кем он говорил, – я тебя буду называть мамой, а не тетей. Ты говоришь глупости, что та женщина – мама. Ты мама, а она нет.

– Почему? – вспыхнула Настасья Филипповна, как девочка, которую похвалили.

Но вместе с радостью в ее голосе слышался страх за Валю. Он стал такой странный, боязливый; боялся спать один, как прежде; по ночам бредил и плакал.

– Так. Я не могу этого рассказать. Ты лучше спроси у папы. Он тоже папа, а не дядя, – решительно ответил мальчик.

– Нет, Валечка, это правда: она твоя мама.

Валя подумал и ответил тоном Григория Аристарховича:

– Удивляюсь, откуда у тебя эта способность перечить!

Настасья Филипповна рассмеялась, но, ложась спать, долго говорила с мужем, который бунчал, как турецкий барабан, ругал пустобрехов и кукушек и потом вместе с женою ходил смотреть, как спит Валя. Они долго и молча всматривались в лицо спящего мальчика. Пламя свечи колыхалось в трясущейся руке Григория Аристарховича и придавало фантастическую, мертвую игру лицу ребенка, такому же белому, как те подушки, на которых оно покоилось. Казалось, что из темных впадин под бровями на них глядят черные глаза, прямые и строгие, требуют ответа и грозят бедою и неведомым горем, а губы кривятся в странную, ироническую усмешку. Точно на эту детскую голову легло смутное отражение тех злых и таинственных призраков-чудовищ, которые безмолвно реяли над нею.

– Валя! – испуганно шепнула Настасья Филипповна. Мальчик глубоко вздохнул, но не пошевелился,

словно окованный сном смерти.

– Валя! Валя! – к голосу Настасьи Филипповны присоединился густой и дрожащий голос мужа.

Валя открыл глаза, отененные густыми ресницами, моргнул от света и вскочил на колени, бледный и испуганный. Его обнаженные худые ручонки жемчужным ожерельем легли вокруг красной и полной шеи Настасьи Филипповны; пряча голову на ее груди, крепко жмуря глаза, точно боясь, что они откроются сами, помимо его воли, он шептал:

– Боюсь, мама, боюсь! Не уходи!

Это была плохая ночь. Когда Валя заснул, с Григорием Аристарховичем сделался припадок астмы. Он задышался, и толстая, белая грудь судорожно поднималась и опускалась под ледяными компрессами. Только к утру он успокоился, и измученная Настасья Филипповна заснула с мыслью, что муж ее не переживет потери ребенка.

После семейного совета, на котором решено было, что Вале следует меньше читать и чаще видеться с другими детьми, к нему начали привозить мальчиков и девочек. Но Валя сразу не полюбил этих глупых детей, шумных, крикливых, неприличных. Они ломали цветы, рвали книги, прыгали по стульям и дрались, точно выпущенные из клетки маленькие обезьянки; а он, серьезный и задумчивый, смотрел на них

с неприятным изумлением, шел к Настасье Филипповне и говорил:

– Как они мне надоели! Я лучше посижу около тебя.

А по вечерам он снова читал, и, когда Григорий Аристархович, бурча об этой чертовщине, от которой не дают опомниться ребятам, пытался ласково взять у него книгу, Валя молча, но решительно прижимал ее к себе. Импровизированный педагог смущенно отступал и сердито упрекал жену:

– Это называется воспитание! Нет, Настасья Филипповна, я вижу, тебе впору с котятками возиться, а не ребят воспитывать. До чего распустила, не может даже книги от мальчика взять. Нечего говорить, хороша наставница.

Однажды утром, когда Валя сидел с Настасьей Филипповной за завтраком, в столовую ворвался Григорий Аристархович. Шляпа его съехала на затылок, лицо было потно; еще из дверей он радостно закричал:

– Отказал! Суд отказал!

Брильянты в ушах Настасьи Филипповны засверкали, и ножик звякнул о тарелку.

– Ты правду говоришь? – спросила она задыхаясь.

Григорий Аристархович сделал серьезное лицо, чтобы видно было, что он говорит правду, но сейчас же забыл о своем намерении, и лицо его покрылось целой сетью веселых морщинок. Потом снова спохва-

тился, что ему недостает солидности, с которой сообщают такие крупные новости, нахмурился, подвинул к столу стул, положил на него шляпу и, видя, что место кем-то уже занято, взял другой стул. Усевшись, он строго посмотрел на Настасью Филипповну, потом на Валу, подмигнул Вале на жену и только после этого торжественного введения заявил:

– Я всегда говорил, что Талонский умница, которого на козе не объедешь. Нет, Настасья Филипповна, не объедешь, лучше и не пробуй.

– Следовательно, правда?

– Вечно ты с сомнениями. Сказано: в иске Акимовой отказать. Ловко, брат, – обратился он к Вале и добавил строго-официальным тоном, ударяя на букву о: – И возложить на нее судебные и за ведение дела издержки.

– Эта женщина не возьмет меня?

– Дудки, брат! Ах, забыл: я тебе книг привез!

Григорий Аристархович бросился в переднюю, но его остановил крик Настасьи Филипповны: Валя в обмороке откинул побледневшую голову на спинку стула.

Наступило счастливое время. Словно выздоровел тяжелый больной, находившийся где-то в этом доме, и всем стало дышаться легко и свободно. Валя покончил свои сношения с чертовщиной, и когда к нему

наезжали маленькие обезьянки, он был среди них самый изобретательный. Но и в фантастические игры он вносил свою обычную серьезность и основательность, и когда шла игра в индейцы, он считал необходимым раздеться почти донага и с ног до головы измазаться краской. Ввиду делового характера, приданного игре, Григорий Аристархович считал для себя возможным принять в ней посильное участие. В качестве медведя он проявил лишь посредственные способности, но зато пользовался большим и вполне заслуженным успехом в роли индейского слона. И когда Валя, молчаливый и строгий, как истый сын богини Кали, сидел у отца на плечах и постукивал молоточком по его розовой лысине, он действительно напоминал собою маленького восточного князька, деспотически царящего над людьми и животными.

Талонский пробовал намекать Григорию Аристарховичу о судебной палате, которая может не согласиться с решением суда, но тот не мог понять, как трое судей могут не согласиться с тем, что решили трое таких же судей, когда законы одни и там и здесь. Когда же адвокат настаивал, Григорий Аристархович начал сердиться и в качестве неопровержимого довода выдвигал самого же Талонского:

– Ведь вы же будете и в палате? Так о чем толковать, – не понимаю. Настасья Филипповна, хотя бы ты

усовестила его.

Талонский улыбался, а Настасья Филипповна мягко выговаривала ему за его напрасные сомнения. Говорили иногда и о той женщине, на которую возложили судебные издержки, и всякий раз прилагали к ней эпитет «бедная». С тех пор как эта женщина лишилась власти взять Валю к себе, она потеряла в его глазах ореол таинственного страха, который, словно мгла, окутывал ее и искажал черты худого лица, и Валя стал думать о ней, как и о других людях. Он слышал частое повторение того, что она несчастна, и не мог понять почему; но это бледное лицо, из которого выпили всю кровь, становилось проще, естественнее и ближе. «Бедная женщина», как ее называли, стала интересовать его, и, вспоминая других бедных женщин, о которых ему приходилось читать, он испытывал чувство жалости и робкой нежности. Ему представлялось, что она должна сидеть одна в какой-нибудь темной комнате, бояться и все плакать, все плакать, как плакала она тогда. Напрасно он тогда так плохо рассказал ей про Бову-королевича.

...Оказалось, что трое судей могут не согласиться с тем, что решили трое таких же судей: палата отменила решение окружного суда, и ребенок был присужден его матери по крови. Сенат оставил кассационную жалобу без последствий.

Когда эта женщина пришла, чтобы взять Валю, Григория Аристарховича не было дома; он находился у Талонского и лежал в его спальне, и только его розовая лысина выделялась из белого моря подушек. Настасья Филипповна не вышла из своей комнаты, и горничная вывела оттуда Валю уже одетым для пути. На нем было меховое пальтецо и высокие калоши, в которых он с трудом передвигал ноги. Из-под барашковой шапочки выглядывало бледное лицо с прямым и серьезным взглядом. Под мышкою Валя держал книгу, в которой рассказывалось о бедной русалочке.

Высокая, костлявая женщина прижала его лицо к драповому подержанному пальто и всхлипнула.

– Как ты вырос, Валечка! Тебя не узнаешь, – пробовала она шутить; но Валя молча поправил сбившуюся шапочку и, вопреки своему обычаю, смотрел не в глаза топ, которая отныне становилась его матерью, а на ее рот. Он был большой, но с красивыми мелкими зубами; две морщинки по сторонам оставались на своем месте, где их видел Валя и раньше, только стали глубже.

– Ты не сердись на меня? – спросила мама, но Валя, не отвечая на вопрос, сказал:

– Ну, пойдем.

– Валечка! – донесся жалобный крик из комнаты Настасьи Филипповны. Она показалась на пороге с

глазами, опухшими от слез, и, всплеснув руками, бросилась к мальчику, встала на колени и замерла, положив голову на его плечо, – только дрожали и переливались бриллианты в ее ушах.

– Пойдем, Валя, – сурово сказала высокая женщина, беря его за руку. – Нам не место среди людей, которые подвергли твою мать такой пытке... такой пытке!

В ее сухом голосе звучала ненависть, и ей хотелось ударить ногою стоявшую на коленях женщину.

– У, бессердечные! Рады отнять последнего ребенка!.. – произнесла она злым шепотом и рванула Валю за руку: – Идем! Не будь, как твой отец, который бросил меня.

– Бе-ре-гите его! – сказала Настасья Филипповна.

Извозчичы сани мягко стучали по ухабам и бесшумно уносили Валю от тихого дома с его чудными цветами, таинственным миром сказок, безбрежным и глубоким, как море, и темным окном, в стекла которого ласково царапались ветви деревьев. Скоро дом потерялся в массе других домов, похожих друг на друга, как буквы, и навсегда исчез для Вали. Ему казалось, что они плывут по реке, берега которой составляют светящиеся линии фонарей, таких близких друг к другу, словно бусы на одной нитке, но, когда они подъезжали ближе, бусы рассыпались, образуя большие

темные промежутки, сзади сливаясь в такую же светящуюся линию. И тогда Валя думал, что они неподвижно стоят на одном месте; и все начинало становиться для него сказкою: и сам он, и высокая женщина, прижимавшая его к себе костлявою рукою, и все кругом.

У него замерзла рука, в которой он держал книгу, но он не хотел просить мать, чтобы она взяла ее.

В маленькой комнате, куда привезли Валу, было грязно и жарко. В углу, против большой кровати, стояла под пологом маленькая кроватка, такая, в каких Валя давно уже не спал.

– Замерз! Ну, погоди, сейчас будем чай пить. Ишь, руки-то какие красные! Вот ты и с мамой. Ты рад? – спрашивала мать все с тою же насильственной, нехорошею улыбкою человека, которого всю жизнь принуждали смеяться под палочными ударами.

Валя, пугаясь своей прямооты, нерешительно ответил:

– Нет.

– Нет? А я тебе игрушек купила. Вот, посмотри, на окне.

Валя подошел к окну и начал рассматривать игрушки. Это были жалкие картонные лошадки на прямых, толстых ногах, петрушка в красном колпаке с носатой, глупо ухмыляющейся физиономией и тонкие оловянные солдатики, поднявшие одну ногу и навеки замер-

шие в этой позе. Валя давно уже не играл в игрушки и не любил их, но из вежливости он не показал этого матери.

– Да, хорошие игрушки.

Но она заметила взгляд, который бросил Валя на окно, и сказала с тою же неприятною, заискивающей улыбкой:

– Я не знала, голубчик, что ты любишь. И я уже давно купила эти игрушки.

Валя молчал, не зная, что ответить.

– Ведь я одна, Валечка, одна во всем мире, мне не с кем посоветоваться. Я думала, что они тебе понравятся.

Валя молчал. Внезапно лицо женщины растянулось, слезы быстро-быстро закапали одна за другой, и, точно потеряв под собою землю, она рухнула на кровать, жалобно скрипнувшую под ее телом. Из-под платья выставилась нога в большом башмаке с порывевшей резинкой и длинными ушками. Прижимая руку к груди, другой сжимая виски, женщина смотрела куда-то сквозь стену своими бледными, выцветшими глазами и шептала:

– Не понравились!.. Не понравились!..

Валя решительно подошел к кровати, положил свою красную ручку на большую, костлявую голову матери и сказал с тою серьезною основательностью,

которая отличала все речи этого человека:

– Не плачь, мама! Я буду очень любить тебя. В игрушки играть мне не хочется, но я буду очень любить тебя. Хочешь, я прочту тебе о бедной русалочке?..

14 сентября 1899 г.